



Виктор Викторович Будаков родился в 1940 году в селе Нижний Карабут Россошанского района. Окончил историко-филологический факультет Воронежского государственного педагогического института. Прозаик, поэт, эссеист. Лауреат литературных премий им. И.А. Бунина, им. А.Т. Твардовского, им. Ф.И. Тютчева, премии журнала «Подъём» «Родная речь» и др. Основатель и редактор книжной серии «Отчий край». Почетный профессор ВГПУ. Заслуженный работник культуры РФ. Автор более 30 книг прозы и поэзии, 10-томного собрания сочинений. Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

Виктор Будаков

СЛОВО ПРАВДЫ И НАДЕЖДЫ

(Вспоминая Ивана Евсеенко)

Миновала уже какая годовщина, как завершилась земная жизнь Ивана Евсеенко. Если бы потребовалось сказать о нем кратко и точно, можно было бы обойтись всего тремя словами: «Большой русский писатель». За этими словами стоит очень многое, существенное, во всяком случае, далеко превосходящее то же самое слово «большой» применительно к пестрой бесконечности нынешних литераторов, режиссеров, актеров, бардов, для большинства из которых слова «мода», «эпатаж», «пиар» столь же ласкают их слух, как и неумеренные восторги одномышленников по поводу их сотворений.

Евсеенко был человек русской классической литературной традиции, он учился в Литинституте у Сергея Петровича Залыгина, и он как-то незаметно, но верно встал в тот ряд, который составляют имена Абрамова, Белова, Носова, Астафьева, Шукшина, Распутина, Лихоносова, Крупина...

Мое знакомство с Иваном Евсеенко было загадочным, заочным. В 1973 году в Центральном-Черномозном книжном издательстве готовилась к печати книга прозы молодых, которую меня попросили редактировать и которой по одноименному рассказу я дал название «Вишневое солнце». Авторы книги (Юрий Бобоня, Иван Евсеенко, Василий Кравченко, Николай Студеникин, Петр Чалый), на мою радость, оказались людьми литературно одаренными, и особых редакторских хлопот

пот не потребовалось. Более того, я не без удовольствия прочитал и перечитал рассказы их, впоследствии разной степени известных писателей, и среди них, прежде всего, Ивана Евсеенко. Его «Бревенчатый низенький дом» был написан не только добротно, но душевно, сердечно и навевал родное.

По той же поре молодой писатель перебрался из Курска в Воронеж, где по весомому звонку Залыгина был принят в журнал «Подъём» и стал заведовать отделом прозы. Мы с ним сошлись как-то незаметно. Разговоры, начинаясь с какого-нибудь пустяка, чаще всего переходили на литературу, причем, меж имен русских писателей мелькали и имена украинских — не только кобзаря, но и современных: Павла Тычины, Бориса Олейника, Павла Загребельного, Олеся Гончара, Ивана Драча... Здесь к месту сказать, что я в свое время поступал в Киевский университет, не раз бывал на Украине, гостил у знакомых и родных (моя мама глубокими корнями произрастала с Полтавщины и Харьковщины), так что разговоры о родной Ивану Евсеенко Украине (он родился в селе Займище на древней Черниговщине) были обоюдно заинтересованными.

Ваня, по первому впечатлению, был угрюмоватый, словно бы чем-то заведомо недовольный. Но когда он, уже при первой встрече, видел человека, пришедшего не по корысти (скажем, незамедлительно, с первого рассказа желавшего быть напечатанным), когда видел человека содержательного, порядочного и литературно одаренного, он преображался, голос его становился теплее, участливее, и сам он душевно открывался. Он умел побороться за своих сверстников, талантливых и близких ему по духу. Пусть и тексты талантливых убеждали, но Ваня нередко ходатайствовал за них дополнительно, то есть приходил к редактору Инне Сафоновой или же к главному редактору Александре Жигульской, приносил книги или короткие рукописи Михаила Еськова, Валерия Баранова, Александра Акулинина и просил прочитать хотя бы несколько страниц. В Центрально-Черноземном книжном издательстве редакторы подобрались толковые, опытные, с первой страницы чувствовавшие и видевшие авторские возможности, и Ваня помогал автору будущей и в основном хорошей книги еще и таким путем. Позже Иван Евсеенко, будучи уже главным редактором «Подъёма», помог и в творческом становлении талантливого прозаика Виктора Никитина.

В советские времена принято было направлять не только студентов, но и вполне по годам зрелых сотрудников различных учреждений на помощь селу, не поспевавшему с уборкой сахарной свеклы. Таким образом, сколько помнится, поздней осенью 1977 года мы оказались теми «шефами-помощниками» в далекоудаленной от Воронежа деревне Тройня. Привычное дело — и очищать свекольные корни, и загружать ими машины, и отвозить на склад ближайшего сахзавода.

А по вечерам мы бродили мимо редких изб и бесфамильного обелиска, при виде которых читался крестный путь России, мимо деревенского пруда, говорили о разном и опять-таки больше — о литературе; не просто о литературе как о большем или меньшем искусстве, красавословии, изыске для немногих, но о литературе, всеми корнями своими вырастающей из толщи народного бытия.

Иногда в вечерние часы в битком набитой комнатухе играли в шахматы, Иван тогда был шахматист начинающий, обычно «вылетал», но не обижался и не уходил, а внимательно следил за игрой более сильных.

А вскоре страна стала меняться, на глазах менялась, неумно утягиваемая в тряские дебри «перестройки» и реформ. Поистине — эти Миши, эти Бори... Эти «гаранты» нелюбви к Отечеству и жадности власти через обман, через предательство. В те ограбляющие, разрушительные для страны времена (не вспомню, когда именно) в Москве был шумно затеян так называемый антифашистский конгресс, естественно, с привлечением провинций. «Антифашистская выборная конференция» состоялось и в нашем под стать столице граде, и взращенные и вскормленные Советской властью и



Иван Евсеенко

народом, победившим фашизм, местные радикал-либералы громко устремились бичевать угрозу «русского фашизма», «коричнево-красной чумы». В те дни я был в отъезде, и когда Иван, оказавшийся на том собрании белой вороной, по моем возвращении рассказал о шумном губернском действе, я изумился: «То есть как?! Народ, победивший всеевропейский фашизм, потерявший миллионы лучших, страна, ставшая после фашистского нашествия наполвленной пепелищем, — и чтобы эти народ и страна допустили у себя фашизм! Да у нас стойкая вакцина против него в его европейском и любом одеянии!» — «Вот я об этом и сказал. Но оказался в побитом меньшинстве. Вернее, исходя из спецподбора приглашенных, одинок... Ладно, все эти конгрессы — вне действительного бытия страны». — «Насчет одиночества, — возразил я, — думаю, преувеличение. Но какой хороший заголовок для рассказа — „Мужество одинокого Вани“! Строже — „Мужество одинокого Ивана“».

Евсеенко дорожил прошлым, его вещами, пусть, на первый взгляд, и незначительными. Горевал, когда в перестроечные дни архив Воронежской писательской организации свалили в огромную ванну — фотографии, книги с надписями, рукописные страницы литераторов... Я его утешал, дескать, в овраги и на свалки выбрасываются великие меры сахара, колбасы, мыла, чтоб только пуст был советский магазин; или сколько неповторимого губернски-уездного антиквариата от мебели и посуды до старинных книг из ветхих чердаков, кладовых шло и уходит на выброс, чаще в жадно-примерчивые руки; более того, даже великие Архивы и Библиотеки и прежде сгорали в мировом пламени, и сколько еще сгорят от молний природы или от злого человеческого умысла и огня.

В юбилейный для Ивана день 1993 года к нам в «Подъём» и Воронежскую организацию Союза писателей России (тогда они располагались в одном здании — в музейном Магистрате) пожаловал председатель областной Думы Иван Шабанов. Видавший виды писательский отсек из двух проходных комнат был захламлен журналами, всякого рода папками и бумагами. Но худо-бедно разместились, и председатель Думы поднял тост за будущее русской литературы и именинника, который в этой литературе — далеко не последний. Иван, как всегда, мрачновато шутил, мол, вот и областная власть пришла поздравить русского писателя. Уходящая власть. А новоявленная — та не поздравит. Других поздравит — более угодных и угодливых.

Далее, справедливости ради, стоит напомнить об одной из эпизодических вех «Подъёма», поскольку именно журналу Евсеенко отдал десятилетия своей литературной страды и жизни. Кажется, в июне девяносто пятого при полном единодушии обеих писательских организаций я был рекомендован и вскоре утвержден губернской властью на должность главного редактора «Подъёма». На верхнем властном этаже были приняты мои условия по названию и содержательному наполнению журнала, по его стратегическому планированию и кадровому вопросу. Но после обоюдной договоренности тогдашний губернатор вдруг предложил повременить с кадрами и названием журнала. В просторнейшем кабинете председателя областного комитета культуры, сообщившего мне сие, я выслушал («а как же недавние договоренности?»), поблагодарил и... направился к выходу. Надо отдать должное моим заместителям —

Виктору Одинцову и Станиславу Никулину — они тоже последовали за мною. А Иван, узнав об этом, ругал меня на чужом свет стоит, дескать, пренебрег устройением местной литературной жизни, а мог бы помочь стольким молодым даровитым писателям, которым нужен редактор опытный, эрудированный и сильный. Но нет худа без добра. Вскоре председателем областного комитета культуры стал Евгений Новичихин, он добился назначения Ивана Евсеенко на пост главного редактора «Подъёма». Это было справедливо и разумно, думаю, Евсеенко тогда был самой подходящей фигурой для главного редакторства. С первого новослужебного дня я навещал своего товарища, помогал, когда в том нужда была, советами, материалами и рубриками — «Духовное поле», «Сыны Отечества», также тематические номера и поныне выпускаются. Будучи давнoletним членом редколлегии «Подъёма», помогал ему определять наиболее существенные векторы в журнале. Заседания редколлегии, за редкими исключениями, собиравшие иногородних представителей из Белгорода, Курска, Липецка, Тамбова, иногда из Орла, обычно выдавались плодотворными, перспективноопределяющими, с неизменным последующим застольем, где Евсеенко нередко зачитывал свои весьма вольные, но точные строки-четверостишия о новых нравах, о столичных и местных литераторах.

Однажды я ему довольно полно ответил на несколько касательных истории Ворожея и страны вопросов, и с той поры он, имевший тягу многое знать, многое видеть и слышать, о многом «в корень» размышлять, нередко обращался ко мне с почтительно-ироническим: «энциклопедист». Он мне даже шутивное, при обычной грубоваатой лексике и ироничности, четверостишие посвятив, переименовав пушкинское «То академик, то герой...», шутивно налегая на мое почетное профессорство на членство в разных общественных академиях, на частые выступления в разных аудиториях города, области и страны.

Мне думается, что кресло главного редактора журнала далось ему тяжело, и уже не имел он возможности в рабочие часы отвести душу с зашедшими на час друзьями, тем более, не имел возможности сразиться в шахматы, ставшие его страстью. А прежде со Стасом Никулиным, Гавриилом Троепольским он мог часами переставлять шахматные фигуры. (Забавный штрих. Я тоже с Иваном, еще не главным редактором, играл в шахматы, поначалу легко обыгрывал его (имея с юности далеко не последний разряд), а затем после затяжных ничьих стал и проигрывать. Дело в том, что над шахматной доской я не любил долго раздумывать, а он часто брал измором. Впрочем, это неточное определение — «измор». Иван Иванович, за что бы ни брался, обдумывал всякое дело основательно, согласно поговорке «семь раз отмерь...», так что для него каждый шахматный ход был столь же значим, как если бы литературный абзац).

Теперь ему приходилось вести бесконечные разговоры с забредавшими с улицы авторами с рукописями и без рукописей, их желание немедленно быть прочитанными, услышанными, их неумение слушать других, и жаль было потерянного времени. Изнуряли объяснения с какой-нибудь дамой, томимой графоманическими недугами, или вдруг откуда-то взявшимся в болезненной напористости говорливцем-стихотворцем, или же назойливым адвокатом-литератором, в своих «биописаниях», оценках, анонимках одержимым синдромами плебейского лакейства, лжи-зависти и провакаторства.

Перед Иван Иванович звонил, спрашивая меня сурово: сколько страниц одолел? И более сурово: или хотя бы строчек? Он считал необходимым писать каждый день. Не то что — ни дня без строчки, но поступал именно так. И постоянно отчитывал меня, когда я подолгу не брал в руки «творящего» пера. Я шутивно отнекивался: «Я же стихотворствующий. Нахлынет — напишу. А так — зачем, о чем? Все уже сказано Сервантесом, Достоевским, Толстым...»

Наконец, и я, утолченный его жесткими требованиями писать каждодневно, взялся за начатые еще в юности замыслы, требовавшие именно прозаических воплоще-

ний; по-иному осмыслил тогда и его давнее выступление на послесельском, кажется, 1990 году правлении Союза писателей России, когда он русских писателей-почвенников звал к письменному столу, а не на митинговые площади.

В начале нынешнего века он усиленно взялся за написание воспоминаний. И с какой впечатляющей яркостью образов и картин, с какими тактом, благодарностью, подчас юмором поведал он нам о своих наставниках и старших друзьях — Зальгине, Носове, Распутине. И за каждой строкой чувствовалась правда, прежде всего, правда. Мужественно правдив он и в страницах воспоминаний о Солженицыне, где рассказывает и о Троепольском, с которым был дружен, но не принял застольного спича автора «Белого Бима...» по окончании в Воронеже выездного пленума Союза писателей России, как и более позднего его выступления на союзном писательском съезде в связи с реакцией грузинской делегации на рассказ Астафьева «Ловля пескарей в Грузии», или его ухода из традиционного писательского Союза. Столь же прям и честен он был и с другими воронежскими по рождению художниками слова, увенчанными наградами, тогда еще не интернетным читательским вниманием и далеко не всегда разборчивыми в отношениях с их так называемыми литературными прочтенцами-«биографами».

Людам, говорящим в глаза правду, не всегда комфортным, то есть мало толерантно-предупредительно-любезным и покорным в отношениях со старшими по службе, нередко не по своей воле приходится уходить, оставлять любимое, налаженное занятие. Разумеется, и Евсеенко при его независимом характере однажды вынужден был уйти с поста главного редактора. Что ему осталось отработать положенные по трудовому законодательству два месяца, извстому стало скоро, и как-то незаметно и вдруг иссяк в его двери поток посетителей, просителей, литераторов, агитаторов... В ту пору навещая его почти ежедневно, видел, как он ранимо все это переживал, и тогда я выводил его на прежние наши разговоры о скоротечности всего, а не то что каких-то служебных кресел, о преходящности и дурного, и хорошего, о конечной бессмыслице человеческих музеев, театров, академий, поскольку... солнце погаснет. А все сущее когда-нибудь покроется водами, как сказал наш великий поэт.

В последние годы я часто бывал в гостях у Валентина Распутина в его московской квартире на Староконюшенном. Долгие многочасовые беседы иногда длились допоздна, но все равно были — словно мгновенье. При расставании Распутин неизменно передавал добрые пожелания воронежцам Новичихину, Белозерцеву, Стручковой, Жихареву. И неизменно — Евсеенко. В одной из бесед я напомнил Валентину Григорьевичу, разумеется, не слово в слово, предваряющие строки Ивана Евсеенко из его, снабженной распутинским послесловием книги «Крик коростеля» — строки о малой родине, о земле Черниговской, о реке Снови, где, по преданию, в смертном противоборстве схватились Илья Муромец и Соловей-разбойник (здесь цитирую в точности): «Два начала поразительно уживаются в душе человеческой: одно сродни Илье Муромцу, доброе, справедливое, с чистыми бескрайними лугами, с высоко парящим в небе аистом, с запахом цветущего льна и конопли, а другое под стать Соловью-Разбойнику, злое, погибельное, звериное. Наступает смертельный час, и вдруг опять сойдутся они, как в старье, древние времена. И тогда один брат идет воевать непрошеного гостя, а другой предаст свою родную землю, свои луга и поля, свое небо и свой дом». Помолчав, Валентин Григорьевич заметил: «Так и будет до скончания века...»

Хотя я и не любитель телефонных бесед, мы, особенно в последние его месяцы, часто беседовали по телефону. И, может, чаще всего об Украине. Он сокрушался, что внешне управляемая Украина избрала недружественное к России слово, и в немалом числе украинские писатели (а там были его друзья) стали завзятыми самостийниками, для которых, как позже выяснилось, Украина не может быть процветающей без заокеанской Америки. А как же Россия — большая ветка единого славянского древа? Единокровная, единопородная восточнославянская Русь: «Москаляку — на гиляку!»?

«Гори оно все у них синим пламенем!» — это Иван Иванович с горечью выдохнул о безумье незаконной, переворотной украинской олигархической верхушки, обманно и вероломно захватившей власть и цинично кинувшей в народ семена лжи, розни, славянского раздора.

А однажды поутру — резкое, словно бритвенно-ранящее, короткое и неожиданное Иваново сообщение — «У меня на днях мозговая операция! Врачи сказывают, что-то лишнее в голове появилось». И вопросительно, как всегда, шутливо-иронично, спросил: «Может, излишек мозга? Может, мозг не такой, какой нужен сегодня?»

Операция прошла сложно. Спасительно, но ненадолго. Вскоре потребовалась еще одна операция — особый скальпель... лучевой лазерный нож!

Наши телефонные беседы после операций становились все тише, тише, все реже и реже...

Иван Иванович Евсеенко (так случилось) похоронен на загородном, дальнем от Воронежа Буденновском кладбище, но его образ неизменно — перед нашими глазами, как с нами и его мужественное, лиричное, ироничное слово. Слово единомышленника, товарища, друга. Слово большого художника.

